

КАРЛ МАРКС И ЛЕВ ТОЛСТОЙ⁵⁵

I

Помните ли вы, читатель, поистине гениальную характеристику Виктора Гюго⁵⁶, сделанную Чернышевским⁵⁷ в одном из его примечаний к „Рассказу о Крымской войне Кинглека“? Если нет, то вы наверное с удовольствием перечитаете ее. Вот она:

„До февраля 1848 года Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый честный гражданин и сочувствовал всему хорошему, в том числе славе Наполеона I⁵⁸ и рыцарскому великодушию императора Александра I⁵⁹, доброму сердцу герцогини Орлеанской⁶⁰, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа⁶¹ и несчастьям благородной герцогини Беррийской⁶², матери соперника этому королю и этому наследнику⁶³, сочувствовал прекрасному таланту Тьера⁶⁴, соперника Гизо⁶⁵, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро⁶⁶, противника

Гизо и Тьера, гению и честности Араго⁶⁷, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов⁶⁸, добродушию Луи Блана⁶⁹, великолепной диалектике Прудона⁷⁰, любил монархические учреждения и кроме того все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику и Вильгельма Телля⁷¹, — образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных, образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей“ [1].

Чернышевский написал эти блестящие строки летом 1863 года, когда сидел в Петропавловской крепости⁷². С тех пор много времени прошло, много воды утекло и много перемен совершилось на свете. Не изменился только „заслуживающий всякого почтения образ мыслей“ эклектиков. Эти добрые люди теперь, как и прежде, готовы объединять в своем сочувствии такие общественные стремления и такие способы действий, между которыми нет и не может быть ничего общего. Таких людей до сих пор много везде, особенно же много их у нас в России вследствие неразвитости наших общественных отношений. Здесь вы очень нередко встретите „честных“ и „образованных“ людей, одновременно сочувствующих например тому же Чернышевскому, который проповедывал материализм, и нынешним нашим „философам“, обеими ногами стоящим на идеалистической точке зрения. Но это еще только пол-беда. Тут речь идет о философии, а философия для многих — дело весьма темное. Гораздо более замечательны те „честные“ и „образованные“,

[1] Чернышевский, Н. Г. Сочинения, Спб., 1906, т. X, ч. 2 отд. 2, стр. 96.

а главное — добрые люди, которые одновременно одинаково сочувствуют теперь у нас Сазонову, который убил Плеве⁷⁴, и графу Толстому, который упорно твердил: „не противься злу насилем“. Смерть гр. Толстого развязала языки этим людям. Дело дошло до того, что их влияние начинает распространяться даже на социалистическую среду. Совершается это через посредство таких межеумочных журналов, как „Наша заря“, которая, подобно органу немецких ревизионистов „Sozialistische Monatshefte“, готова, под предлогом широты своих социалистических воззрений, приветствовать всякий вздор, если только он идет вразрез с коренными положениями марксизма. Прежде у нас „дополняли“ Маркса Кантом⁷⁵, Махом⁷⁶, Бергсоном⁷⁷. Я предсказывал, что скоро начнут „дополнять“ его Фомой Аквинским⁷⁸. Это мое предсказание пока еще не оправдалось. Но зато теперь широко практикуется попытка „дополнить“ Маркса гр. Толстым. А это еще более удивительно.

Как же на самом деле относится миросозерцание Маркса к миросозерцанию Толстого? Они прямо противоположны одно другому. Об этом очень не мешает напомнить.

II

Миросозерцание Маркса есть диалектический материализм. Наоборот Толстой не только идеалист, но он всю жизнь свою был, по приемам мысли, самым чистокровным метафизиком [1]. Энгельс говорит: „Метафизик мыслит

[1] Прошу заметить, что я говорю о приемах его мысли, а не о приемах его творчества. Приемы его творчества были совершенно чужды указанного недостатка, и он сам смеялся над ним, встречая его у других художников.

законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: «да — да, нет — нет»; что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует, или не существует; для него предмет не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга» [1]. Это именно тот способ мышления, который так характерен для гр. Толстого и который людям, не доросшим до диалектики, напр. г. М. Неведомскому⁷⁹, — представляется „главной силой“ этого писателя, объяснением его всемирного обаяния, живой связи его с современностью [2].

Г-н М. Неведомский ценит в Толстом его „абсолютную последовательность“. Тут он прав. Толстой, в самом деле, был „абсолютно-последовательным“ метафизиком. Но именно это обстоятельство было главным источником слабости Толстого, именно благодаря ему он остался в стороне от нашего освободительного движения; именно благодаря ему он мог сказать о себе, — и конечно с полной искренностью, — что он так же мало сочувствует реакционерам, как и революционерам. Когда человек до такой степени удаляется от „современности“, то смешно и говорить об его „живой связи“ с нею. И само собою понятно также, что именно „абсолютная последовательность“ Толстого делала его учение „абсолютно“ — противоречивым.

Почему не следует „противиться злу насилем“? Потому, — отвечает Толстой, — что „нельзя огнем тушить огонь, водою сушить воду, злом уничтожать зло“ [3]. Это —

[1] Фр. Энгельс. „Развитие научного социализма“, перевод с немецкого В. Засулич, Женева, 1906, стр. 17.

[2] „Наша заря“, № 10, стр. 9.

[3] „Спелые колосья“. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил, с разрешения автора

именно та „абсолютная последовательность“, которая характеризует собой метафизический способ мышления. Только у метафизика могут приобретать абсолютное значение такие относительные понятия, как зло и добро. В нашей литературе Чернышевский давно уже выяснил, вслед за Гегелем⁸⁰, что „в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени“, и что „прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует“ [1].

Но „абсолютно-последовательный“ гр. Толстой никогда не хотел да и не мог судить об общественных явлениях „по соображению той обстановки, среди которой они существуют“. Поэтому он в своей проповеди никогда не мог пойти дальше неудовлетворительных „общих отвлеченных изречений“. Если в этих „общих отвлеченных изречениях“ многие „честные“ и „образованные“ господа видят теперь какую-то „силу“, то это свидетельствует лишь об их собственной слабости.

Чернышевский прямо ставит между прочим и вопрос о насилии. Он спрашивает: „пагубна или благотворна война?“ „Вообще, — говорит он, — нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет

Д. Кудрявцев, Женева, 1896, стр. 218. К этой книге приложено письмо гр. Толстого г. Кудрявцеву, показывающее, что Толстой не встретил в ней ничего противоречащего его взглядам.

[1] Чернышевский, Н. Г. Сочинения, т. II, стр. 187.

дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но например война 1812 года была спасительна для русского народа; марафонская битва⁸² была благотворнейшим событием в истории человечества" [1]. Если бы не цензура, то Чернышевский нашел бы конечно и другие примеры. Он сказал бы, что бывают случаи, когда внутренняя война, т. е. революционное движение, направленное против устарелого порядка вещей, является благотворнейшим событием в истории народа, несмотря на то, что революционерам по необходимости приходится противопоставлять силу насилию охранителей. Но те диалектические соображения, которыми Чернышевский подкреплял свою мысль, навсегда остались недоступными для „абсолютно-последовательного“ Толстого, и только поэтому он мог ставить наших революционеров на одну доску с нашими охранителями. Больше того. Охранители должны были представляться ему менее вредными, чем революционеры. В 1887 году он писал: „Вспомним Россию за последние 20 лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам потрачено нашей молодой интеллигенцией на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям. И что же сделано? Ничего. Хуже чем ничего. Погубили страшные душевные силы. Колья переломали и землю убили плотнее, чем прежде была, так, что и заступ не берет" [2]. Если впоследствии он может быть уже не считал революционеров более вредными, чем охранителей,

[1] Сочинения, т. IV, стр. 187 и 188, примечание.

[2] „Спелые колосья“, стр. 218.

то он все-таки не видел в их действиях ничего, кроме ужасных злодейств и глупости [1]. И это опять-таки было „абсолютно-последовательно“. Его учение о „непротивлении злу насилием“ лучше всего поясняется следующим его рассуждением:

„Если мать сечет своего ребенка, то что мне больно и что я считаю злом? То ли, что ребенку больно, или то, что мать, вместо радости любви, испытывает муки злости?

„И я думаю, что зло в том и в другом.

„Один человек не может делать ничего злого. Зло есть разобщение людей. И потому, если я хочу действовать, то могу только с целью уничтожить разобщение и восстановить общение между матерью и ребенком.

„Как же мне поступить? Насиловать мать?

„Я не уничтожу ее разобщения (греха) с ребенком, а только внесу новый грех, разобщение со мною.

„Что же делать?

„Одно — поставить себя вместо ребенка, — это не будет неразумно“ [2] ⁸⁴.

Такой способ борьбы со злом мог бы оказаться действительным только при одном условии: если бы злая мать до такой степени удивилась, увидя постороннего и взрослого человека, лежащего рядом с ее ребенком, что выронила бы из рук розгу. При отсутствии же этого условия он не только не устранил бы „разобщения“ (греха) матери с ребенком, но и привел бы к „новому греху ее“ — разобщению со мною: мать могла бы например

[1] „Не могу молчать!“⁸³ Берлин, изд. Ладыжникова, стр. 26 и следующие.

[2] „Спелые колосья“, стр. 210.

встретить „мой“ самоотверженный поступок презрительной насмешкой и, не обращая на него затем уже ни малейшего внимания, продолжать свое жестокое занятие. Именно это и случилось, когда Толстой выступил со своим „Не могу молчать!“

Он говорил так: „Затем я и пишу это, буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня так же, как и на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю“ [1].

Предлагая надеть на него намыленную петлю и столкнуть его со скамейки, гр. Толстой лишь снова повторял ту свою мысль, что когда мать засекает своего ребенка, то мы, — не имея нравственного права вырвать его у нее, — можем только положить себя на его место. Из этой мысли на практике вышло именно то, что, как я сказал, должно было выйти: палачи продолжали свое дело, точно и не слышали просьбы Толстого: „повесьте меня с ними“. Правда, написанная великим художником яркая картина совершаемых палачами жестокостей возбудила против правительства общественное мнение и тем несколько увеличила шансы нового подъема у нас революционного движения. Но, при своем отрицательном взгляде на это движение

[1] „Не могу молчать!“, стр. 40—41.

„абсолютно-последовательный“ Толстой не мог хотеть этого побочного результата [1].

Наоборот он боялся его. Это видно из его последней статьи о смертной казни, написанной 29 октября в Оптиной пустыни⁸⁶ и озаглавленной „Действительное средство“⁸⁷. Он доказывает в ней, что „в наше время для действительной борьбы с казнью нужны не проламывания раскрытых дверей, не выражения негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности казни. Всякий искренний, мыслящий человек, кроме того еще знающий с детства шестую заповедь, не нуждается в разъяснениях бессмысленности и безнравственности казни. Не нужны также описания ужасов самого совершения казней“. Обыкновенно чуждый точки зрения практической целесообразности, гр. Толстой переходит здесь на нее, доказывая, что описание ужасов смертной казни приносит вред тем, что уменьшает число кандидатов в палачи, вследствие чего правительству дороже приходится оплачивать их услуги! Поэтому единственное позволительное и действительное средство борьбы со смертной казнью состоит в том, „чтобы внушить всем людям, в особенности распорядителям палачей и одобрителям их“, правильные понятия о человеке и об его отношении к окружающему его миру. Теперь выходит стало быть

[1] Примечание для проницательного критика. В другой статье, напечатанной в другом издании, я говорю, что в „Не могу молчать!“ Толстой перестает быть толстовцем. Не думайте, что это противоречие. Все дело в том, что там я рассматриваю „Не могу молчать!“ с другой стороны. А именно, со стороны отношения Толстого к „прозелитизму“⁸⁵, который, по его справедливому мнению, плохо вяжется с духом его доктрины. А между тем, чтобы писать и издавать свои сочинения, надо хоть до некоторой степени иметь дух прозелитизма.

что нам уже нет нужды предоставлять наше грешное тело в распоряжение взбешенной матери, засекающей своего ребенка: достаточно ознакомить ее с религиозным учением гр. Толстого.

Вряд ли нужно еще доказывать, что подобная „абсолютная последовательность“ решительно устраняет всякую возможность „живой связи“ с „современностью“.

III

Гр. Толстому в голову не приходило спросить себя, не обуславливается ли власть истязующего над истязуемым и казнящего над казнимым какими-нибудь общественными отношениями, для устранения которых можно и должно было бы воспользоваться насилием. Он не признавал зависимости внешнего мира людей от внешних условий. Это опять происходило оттого, что он был „абсолютно-последователен“ в своем метафизическом идеализме. И только благодаря своей крайней последовательности метафизика, он мог думать, что для выхода России из ее нынешнего тяжелого положения есть только одно „действительное средство“: обращение нынешних ее угнетателей на путь истины.

Говорят, что уже в ранних произведениях Толстого очень нередко встречаются зародыши тех мыслей, из совокупности которых составилось впоследствии его нравственно-религиозное учение. Это справедливо. И к этому надо прибавить, что уже в ранних произведениях Толстого встречаются сцены, чрезвычайно ярко характеризующие тот способ „борьбы“ со злом, который практиковался им в последнее тридцатилетие его жизни. Вот одна из них, быть может самая замечательная. В „Юности“⁸⁸ (в главе „Дмитрий“⁸⁹) описывается „насилие“,

вызванное вопросом о том, где ляжет Иртеньев⁹⁰, оставшийся ночевать на даче у Нехлюдова.

„Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

„—Убирайся к чорту!—крикнул Дмитрий, топнув ногой. — Васька! Васька! Васька!—закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос, — Васька! стели мне на полу.

„—Нет, лучше я лягу на полу, — сказал я.

„—Ну все равно, стели где-нибудь, — тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий, — Васька! что ж ты не стелешь?

„Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял не двигаясь.

„—Ну, что ж ты? Стели, стели! Васька! Васька! — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

„Но Васька все еще не понимал и, оробев, не шевелился.

„—Так ты поклялся меня погуб... взбесить.

„И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим и детским выражением, что мне стало жалко его и, как ни хотелось отвернуться, я не решился это сделать“. После этого Дмитрий стал горячо и долго молиться, а по окончании молитвы между друзьями произошел такой разговор:

„—А отчего ты мне не скажешь, — сказал он (Дмитрий. — Г. П), — что я гадко поступил? Ведь ты об этом сейчас думал?

„— Да, — отвечал я, — хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал, — да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого.

„— Ну, что зубы твои? — прибавил я.

„— Прошли. Ах, Николенька, мой друг! — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах, — я знаю и чувствую, как я дурен, и бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне“.

По поводу этой замечательной сцены еще Писарев⁹¹ сделал несколько весьма остроумных отзывов в статье „Промахи незрелой мысли“. Он писал:

„Иртеньев, повидимому, так мало поражен избиением Васьки, что в самую минуту этого события все его внимание обращено исключительно на игру лицевых мускулов в физиономии Нехлюдова. Замечая в этих мускулах быстрое передвижение, вследствие которого скотское выражение бешенства переходит в гримасу раскаяния, Иртеньев совершенно забывает об участии Васьки, у которого в это время, по всей вероятности, лицевые мускулы тоже находятся в сильном движении и у которого кроме того созревают на черепе синяки и кровяные шишки. Иртеньев начинает соболезновать не о том, кого избили, а о том, — кто бил“.

Статья „Действительное средство“, представляющая собою как бы политическое завещание гр. Толстого, заставила меня вспомнить как о трогательном разговоре Иртеньева с Нехлюдовым, так и об остроумных замечаниях,

сделанных по его поводу одним из самых выдающихся представителей 60-х гг. Что бы ни толковали об его индивидуализме, несомненно одно: Писарев целиком стоял на стороне того, кого били, а не того, кто бил. О Толстом же, которого совершенно не коснулось движение 60-х гг., этого сказать нельзя. Разумеется было бы несправедливо утверждать, что он не сочувствовал избиваемым. У нас нет никакого основания не верить ему, когда он говорит, что ему одинаково жаль и ребенка, которого истязует мать, и мать, которая испытывает муки злобы. Но если перед нами один человек душит другого, и если вы „одинаково“ сочувствуете им обоим, то вы тем самым показываете, что на самом деле вы незаметно для себя более сочувствуете душителю, нежели душимому. А если вы при этом, обращаясь к окружающим, говорите, что было бы безнравственно защищать душимого насилием и что единственное позволительное и „действительное средство“ состоит в нравственном исправлении душителя, то вы еще более переходите на сторону этого последнего.

Заметьте кроме того, как изображается Толстым состояние действующих лиц в примере матери, засекающей ребенка: этому последнему „больно“ (физически), а мать озлоблена, т. е. терпит „нравственный вред“. Но физические страдания и лишения людей всегда очень мало занимали Толстого, интересовавшегося исключительно их нравственностью. Поэтому для него было совершенно естественно свести весь вопрос к тому, какое зло мы причинили бы матери, отнимая у нее ребенка. Он не спрашивает себя, как отразится на нравственном состоянии ребенка испытываемая им физическая боль. Совершенно так же Иртеньев, сосредоточивши свое внимание на нравственном состоянии благородного

Нехлюдова, позабыл о нравственном состоянии избитого Васьки.

Последняя статья Толстого против смертной казни является словом в защиту палачей. Если бы враги существующего политического порядка захотели послушаться доброго совета, данного им в этой статье, то им пришлось бы ограничить свою деятельность уверением правительства, что вешать „очень нехорошо“ и что они от него „даже и не ожидали этого“. Отсюда, в самом лучшем случае, могло бы произойти только то, что правительство П. А. Столыпина⁹² ответило бы: „Я знаю и чувствую, как я поступаю дурно, и бог видит, как желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер?.. Я стараюсь удерживаться, исправляться; но это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне“.

Легко понять, что положение России, угнетаемой и разоряемой правительством г. Столыпина, так же мало изменилось бы от этого к лучшему, как мало изменилось состояние избитой головы Васьки от того, что Иртеньев вступил в чувствительное объяснение с Нехлюдовым.

IV

Нравственная проповедь гр. Л. Толстого вела к тому что, — поскольку он занимался ею, — он, сам того не желая и не замечая, переходил на сторону угнетателей народа. В своем известном обращении „К царю и его помощникам“⁹³ он говорил: — „Обращаемся ко всем вам — к царю, членам Государственного Совета, к сенаторам, министрам, ко всем лицам, близким к царю, ко всем лицам, имеющим власть помогать успокоению общества

и избавить его от страданий и преступлений, обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям“ [1]. Это была правда, всей глубины которой не подозревал сам гр. Толстой, как не подозревают ее „честные, образованные“ люди, предающиеся теперь настоящей оргии сантиментальности. Гр. Толстой был не только сыном нашей аристократии, он долго был ее идеологом, правда, не во всех отношениях [2]. В его гениальных романах наш дворянский быт изображается, хоть и без ложной идеализации, но все-таки со своей лучшей стороны. Отвратительная сторона этого быта, — эксплуатация крестьян помещиками, — как бы не существовала для Толстого [3]. В этом сказался весьма своеобразный, но в то же время непобедимый консерватизм нашего великого художника. А этот консерватизм в свою очередь обусловил собою то обстоятельство, что даже тогда, когда Толстой обратил наконец свое внимание на отрицательную сторону дворянского быта и стал осуждать ее с точки зрения нравственности, он все-таки продолжал заниматься эксплуататорами, а не эксплуатируемыми.

[1] „Отклики гр. Л. Н. Толстого на злобу дня в России“, Берлин, 1901, стр. 13.

[2] Следует помнить, что он принадлежал к семье очень родовитой, но совсем не чиновной.

[3] Иртеньев говорит у него („Юность“, глава XXXI): „Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей *сomme il faut* и на *somme il ne faut pas*. Второй род подразделялся еще на людей собственно не *somme il faut* и простой народ“. Ни один из видов этого второго рода не имел самостоятельного интереса в глазах графа-художника. Если простой народ и выступает на сцену (например, в „Войне и мире“⁹⁴ или в „Казаках“⁹⁵), то лишь для того, чтобы своей непосредственностью отметить рефлексию, развещающую людей *somme il faut*.

Кто не замечает этого, тот никогда не дойдет до правильного понимания его нравственности и его религии.

В „Войне и мире“ Андрей Болконский говорит Безухову: „Ну, вот ты хочешь освободить крестьян. Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян... А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавливают это раскаяние и грубеют оттого, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян“.

Разумеется Толстой никогда не сказал бы о крестьянах, как говорит о них в том же разговоре Болконский: „Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то, я думаю, что им от этого нисколько не хуже“. Граф Толстой понимал, что им гораздо хуже от этого. И все-таки страдающие крестьяне занимали его несравненно меньше, нежели те, которые заставляли их страдать, — т. е. люди его собственного сословия — дворяне. Чтобы облегчить читателю понимание его настроения, я сошлюсь на пример его собственного брата Н. Н. Толстого⁹⁶.

Фет⁹⁷ рассказывает, что однажды приехавший к нему Н. Н. Толстой очень рассердился на своего крепостного кучера, вздумавшего поцеловать его руку. „С чего вдруг этот скот выдумал целовать руку? — говорил он с раздражением в голосе, — от роду этого не было“.

Фет считает нужным прибавить, что это нелестное для кучера замечание сделано было лишь после того, как тот ушел к лошадям^[1]: и я готов признать деликатность Н. Н. Толстого. Но его деликатность отнюдь не устранила

[1] „Лев Николаевич Толстой“. Биография. Составил П. Бирюков, стр. 355.

той особенности в его психологии, в силу которой он продолжал величать скотом своего кучера, даже после того как твердо решил, что целование руки барина слугою оскорбляет человеческое достоинство. Но если слуга остается „скотом“, то чье же человеческое достоинство оскорбляется тем, что он целует руку? Очевидно, достоинство деликатного барина. Таким образом даже сознание человеческого достоинства окрашивается здесь ярким цветом сословного предрассудка. И вот этот-то сословный предрассудок проникает собою все учение графа Л. Толстого. Только под его влиянием он мог написать свою статью „Действительное средство“. Только привыкнув рассматривать угнетение под углом того нравственного вреда, который оно приносит угнетателям, граф Толстой мог, умирая, сказать своей стране: я не признаю за собою никакого другого права, кроме права содействовать нравственному исправлению твоих мучителей.

Излишне прибавлять, что только идеалист мог, подобно Толстому, оставаться искренним в таком стремлении к справедливости, которое само было несправедливым по своему существу. Материалист не обошелся в данном случае без весьма значительной доли цинизма. В самом деле только идеализм позволяет рассматривать требования нравственности, как нечто независимое от существующих в данном обществе конкретных отношений между людьми. У графа же Толстого, вследствие свойственной ему „абсолютной последовательности“ метафизика, этот обычный недостаток идеализма дошел до последней крайности, выразившись в решительном противопоставлении „вечного“ „временному“, „духа“ „телу“^[1]

[1] Эта сторона предмета подробно рассматривается мной в другой статье⁹⁸, к которой я отсылаю читателя.

Не будучи в состоянии заменить в своем поле зрения угнетателей угнетаемыми, — иначе сказать: перейти с точки зрения эксплуататоров на точку зрения эксплуатируемых, — Толстой естественно должен был направить свои главные усилия на то, чтобы нравственно исправить угнетателей, побудив их отказаться от повторения дурных поступков. Вот почему его нравственная проповедь приняла отрицательный характер. Он говорит: „Не сердись. Не блуди. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа“ [1].

Это еще не все. Проповедник, поставивший себе целью нравственное возрождение людей, испорченных своей ролью эксплуататоров, и не видящий в своем поле зрения никого, кроме таких людей, не может не сделаться индивидуалистом. Граф Толстой много распространялся о важности „единения“. Но как понимал он практику „единения“? А вот как: „Будем делать то, что ведет к единению, — приближаться к Богу, а об единении не будем думать. Оно будет по мере нашего совершенства, нашей любви. Вы говорите: «сообща легче». Что легче? Пахать, косить, сваи бить, — да, легче, но приближаться к Богу можно только по-одиночке“ [2].

Это — чистейший индивидуализм, которым объясняется между прочим и страх смерти, сыгравший такую огромную роль в учении Толстого. Еще Фейербах⁹⁹, — подробно развивая мысль, мимоходом высказанную Гегелем¹⁰⁰, — утверждал, что свойственный новейшему человечеству страх смерти, обуславливающий собою современное религиозное учение о бессмертии души, есть продукт индивидуализма. По словам Фейербаха, индивидуалистически настроенный субъект не имеет другого объекта, кроме самого себя,

[1] „Спелые колосья“, стр. 216.

[2] Там же, стр. 75.

и потому чувствует непреодолимую потребность верить в свое бессмертие. В античном мире, не знавшем христианского индивидуализма, субъект имел объектом не самого себя, а то политическое целое, к которому он принадлежал: свою республику, свой город-государство. Фейербах приводит то замечание блаженного Августина¹⁰¹, по которому слава Рима заменяла римлянам бессмертие. Граф Толстой так же мало способен был упиваться двусмысленной „славой“ государства российского, как и эксплуататорскими подвигами благородного русского дворянства. В этом сказалось влияние на него передовых идей его времени. Но он не способен был и перейти на сторону массы, эксплуатируемой дворянским государством. Фейербах сказал бы, что ему оставалось иметь „объектом“ самого себя, жаждать личного бессмертия. Граф Толстой усердно доказывал, что смерть вовсе не страшна. Но он делал это единственно потому, что нестерпимо боялся ее. Читатели „Социал-демократа“¹⁰² понимают и без моих разъяснений, что практика „единения“ представляется сознательному пролетариату совершенно в другом виде, чем представлялась она Толстому. И если некоторые идеологи рабочего класса называют теперь Толстого „учителем жизни“, то они очень заблуждаются: пролетариату совершенно невозможно „учиться жизни“ у графа Толстого.

V

Кстати о заблуждении. Граф Толстой, часто утверждавший, что у него нет ничего общего с социалистами, насколько я знаю, ни разу не постарался точно и ясно определить свое отношение к научному социализму Маркса. Оно и понятно: этот социализм был ему мало известен. Однако в книге „Спелые колосья“ есть строки, в которых,

вероятно без ведома гр. Толстого, как нельзя яснее обнаруживается полная противоположность его учения с учением Маркса. Толстой пишет там:

„Главное заблуждение людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению и отвращение от страданий. И человек, один, без руководства, отдается этому руководителю: ищет наслаждения и избегает страдания, и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избегать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была в том, то — что за нелепость! Цель — наслаждения, а их нет и не может быть. А если бы они и были, — конец жизни — смерть, всегда сопряженная со страданиями. Если бы моряки решились, что цель их миновать подъема волн, куда бы они заехали? — Цель жизни вне наслаждений“ [1].

В этих строках хорошо виден христиански-аскетический характер толстовского учения о нравственности. Если бы я захотел найти поэтическую иллюстрацию для этого учения, то я обратился бы к известному духовному стиху „О вознесении Христовом“. В нем рассказывается, как нищая братия прощалась с собравшимся вознестись на небо Иисусом и как присутствовавший при этом Иоанн Златоуст¹⁰³ говорил ему:

Не давай нищим гору крутую,
Что крутую гору, золотую:
Не сумеешь горою владати,
Не сумеешь им золотые поверстать,
И промежду собою разделяти:
Зазнают гору князи и бояре,
Зазнают гору пастыри и власти,
Зазнают гору торговые люди,

[1] „Спелые колосья“, стр. 58.

Отоймут у них гору крутую,
.....
Отоймут у них гору золотую...
Дай же ты нищим убогим
Имя твое святое.
Будут нищие по миру ходити,
Тебя Христа величати,
В каждый час прославляти...

Толстой хотел бы дать людям именно то, чего просит для нищих Иоанн Златоуст у Христа. Больше ему ничего не нужно. Его учение есть пессимизм на религиозной подкладке, или, — если вы предпочитаете выразиться так, — религия на основе крайне пессимистического мироощущения. С этой стороны оно, как и со всех других, представляет собою прямую противоположность учению Маркса.

Подобно другим материалистам, Маркс был, как нельзя более, далек от той мысли, что „цель жизни вне наслаждений“. Уже в книге „Die Heilige Familie“¹⁰⁴ он показал связь социализма (и коммунизма) с материализмом вообще и в частности с материалистическим учением о „нравственной правомерности наслаждения“. Но у него, как и у большинства материалистов, учение это никогда не имело того эгоистического вида, в каком оно представлялось идеалисту Толстому. Напротив оно явилось у него одним из доводов в пользу социалистических требований.

„Если человек черпает все свои ощущения, знания и т. д. из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали

с интересами человечества. Если человек не свободен в материалистическом смысле этого слова, т. е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или иных поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека" [1].

Вот научная основа нашего учения о нравственности. Кто сознательно сочувствует ему, тот не может не возмущаться до глубины души теми эклектиками, которые приглашают теперь пролетариат преклониться перед величием нравственной проповеди Толстого. Революционный пролетариат должен отнестись к этой проповеди со строгим осуждением.

Прямо противоположен Марксу Толстой и в своем отношении к религии. Маркс называл религию тем опиум, которым высшие классы стараются усыпить народное сознание, и говорил, что уничтожение религии, как много счастья народа, есть требование его действительного счастья. Энгельс писал: „Мы раз навсегда объявляем войну религии и религиозным представлениям“. А Толстой считает религию первым условием действительного счастья людей. И напрасно наши „Socialistische

[1] См. приложение 1 (Карл Маркс о французском материализме XVIII в.) к брошюре Фр. Энгельса „Людвиг Фейербах“ в моем переводе, Женева, 1905, стр. 63.

[2] Редакция „Нашей зари“ заявляет в примечании, что некоторые отдельные положения статьи г. В. Базарова—„Толстой и русская ин-

Monatshefte в лице г. В. Базарова [2] рассказывают, что Толстой всегда боролся „с верой в сверхчеловеческое начало“ и что он „впервые объективировал, т. е. создал не только для себя, но и для других, ту чисто человеческую религию, о которой Конт¹⁰⁶, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать“ [1].

Была ли у гр. Толстого логическая возможность вести борьбу „с верой в сверхчеловеческое начало“, это лучше всего показывают следующие его слова: „Важно то, чтобы признать бога хозяином и знать, чего он от меня требует, а что он сам такое, и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник, он хозяин“ [2].

Разве же это не проповедь „сверхчеловеческого начала“?

А кроме того даже ревизионистам пора понять, что всякие толки о „чисто человеческой религии“ суть чистые пустяки. „Религия, — говорит Фейербах, — есть бессознательное самосознание человека“. Этой бессознательностью обуславливается не только существование религии, но и „вера в сверхчеловеческое начало“. Когда бессознательность исчезает, тогда вместе с нею пропадает вера в это начало, а в то же время и возможность существования религии. Если сам Фейербах не ясно понимал, до какой степени это неизбежно, то в этом состояла его ошибка, которая так хорошо разоблачена была Энгельсом.

„теллигенция“ оставляются ею на ответственности автора. Но, во-первых, она осторожно умалчивает о том, какие именно положения не разделяются ею, а, во-вторых, редакция немецкой „Нашей зари“ (настоящие „Sozialistische Monatshefte“) тоже никогда не разделяет „некоторых положений“ в статьях своих сотрудников, что не мешает, однако, этим господам всегда стоять на одной точке зрения с нею.

[1] „Наша зоря“, № 10, стр. 48 (курсив Базарова).

[2] „Спелые колосья“, стр. 114.

Чем религиознее было мировоззрение графа Л. Толстого, тем менее совместимо было оно с мировоззрением социалистического пролетариата.

VI

Значение толстовской проповеди заключалось не в ее нравственной и не в ее религиозной стороне. Оно заключалось в ярком изображении той эксплуатации народа, без которой не могут существовать высшие классы. Эксплуатация эта рассматривается Толстым с точки зрения того нравственного зла, которое она причиняла своим эксплуататорам. Но это не мешало ему изображать ее со своим обычным, т. е. гигантским, талантом.

Что хорошего в книге „Царство Божие внутри нас“¹⁰⁷ То место, где описывается истязание крестьян губернатором. С чем можно согласиться в брошюре „Какова моя жизнь?“¹⁰⁸. Едва ли не только с тем, что говорится в ней о тесной связи даже самых невинных развлечений господствующего класса с эксплуатацией народа. Чем трогает читателя статья „Не могу молчать!“? Художественным описанием казни двенадцати крестьян. Как и все „абсолютно-последовательные“ христиане, Толстой — крайне плохой гражданин. Но когда этот крайне плохой гражданин начинает, со свойственной ему силой, анализировать душевные движения представителей и защитников существующего порядка, когда он разоблачает все вольное или невольное лицемерие их беспрестанных ссылок на общественное благо, — тогда на его счет приходится занести огромную гражданскую заслугу. Он проповедует непротivление злу насилием, а те его страницы, которые подобны только что указанным мною, будят в душе

читателя святое стремление выставить против реакционного насилия революционную силу. Он советует ограничиваться оружием критики, а эти его превосходные страницы безусловно оправдывают самую резкую критику посредством оружия^[1]. Вот что — и только это — дорого в проповеди гр. Л. Толстого.

Но указанные превосходные страницы составляют лишь малую часть того, что было им написано в последние 30 лет. Все остальное, поскольку это остальное пропитано его нравственно-религиозной тенденцией, — идет вразрез со всеми прогрессивными стремлениями нашего века; все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно несовместимой с идеологией пролетариата.

Но замечательное дело! Именно потому, что все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно несовместимой с идеологией сознательного пролетариата, — именно поэтому, — идеологи высших классов имели нравственную возможность „преклониться“ перед проповедью гр. Л. Толстого. Правда, она клеймила их недостатки. Но тут еще нет очень большой беды. Ведь многие христианские проповедники тоже клеймили недостатки высших классов, однако это не мешает христианству оставаться религией современного классового общества. Главное — то, что Толстой советует не противиться злу насилием. Если

[1] В драме Лассалы: — „Франц фон-Зикинген“ Ульрих фон-Гуттен говорит каплану Экампедиусу: „Напрасно вы так плохо думаете о мече!.. Мечом изгнан из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены наука и искусство, мечом сражались Давид, Самсон и Гедеон. Мечом было совершено все великое в истории и в конце-концов ему же будет она обязана всеми великими событиями, которые когда-либо в ней совершатся!“ (III Akt, 3 Auftritt). Российский пролетариат согласен, конечно, с Ульрихом фон-Гуттенем, а не с капланом (попом) Экампедиусом.

французская палата депутатов „преклонилась“ перед Толстым чуть ли не в тот же самый день, когда она „преклонилась“ перед Брианом¹⁰⁹ за его энергичную расправу со стачечниками, то это произошло по той простой причине, что толстовская проповедь совсем не пугает эксплуататоров. У них нет никакого основания бояться ее, и напротив есть все основания одобрять ее за то, что она доставляет им приятный случай, ничем серьезным не рискуя, „преклониться“ перед нею и тем показать себя с хорошей стороны. Разумеется буржуазия ни за что не „преклонилась“ бы перед проповедником вроде Толстого в такое время, когда она сама настроена была на революционный лад. Тогда такого проповедника заменяли бы ее идеологи. Но теперь обстоятельства переменились, теперь буржуазия идет назад и теперь ее сочувствие наперед обеспечено всякому умственному течению, пропитанному духом консерватизма, а тем более такому, вся практическая сущность которого состоит в „непротивлении злу насилием“. Буржуазия (а с нею, конечно, и обуржуазившаяся аристократия наших дней) понимает или по крайней мере подозревает, что главное зло настоящего времени и есть эксплуатация ею пролетариата. Как же не „преклоняться“ ей перед теми людьми, которые твердят: „Никогда не противьтесь злу насилием“? Если бы крыловского кота, похитившего куренка, спросили, кого он считает лучшим „учителем жизни“, то он наверно „преклонился“ бы перед поваром, который, не борясь со злом насилием, ограничился известными восклицаниями:

Не стыдно ль стен тебе, не только, что людей!..

Кот Васька плут, кот Васька вор... и т. д.¹¹⁰

Некоторые последователи Толстого мнят себя крайними революционерами на том весьма шатком основании, что отказываются от военной службы. Однако во-первых,

существующий порядок только выиграл бы в своей прочности, если бы в армию всегда поступали только те, которые готовы защищать его силой оружия; во-вторых, главный враг милитаризма есть классовое самосознание пролетариата и обусловленная им готовность противопоставить реакционному насилию революционную силу. Кто затемняет это самосознание, кто ослабляет эту готовность, тот не враг милитаризма, а друг его, хотя бы он, с упорным формализмом сектанта, всю жизнь отказывался, не боясь преследований, взять солдатское ружье в свои руки.

Что касается русского буржуазного „общества“, то оно как раз теперь переживает такое настроение, которое должно было побудить его к „преклонению“ перед проповедью гр. Толстого. Оно не только разуверилось в возможности противопоставить силу революционного народа насилию реакционеров; оно более или менее твердо убедилось в том, что подобное противопоставление не в его интересах. Ему хотелось бы окончить свой старый спор с абсолютизмом посредством мирного соглашения. К этому направлена тактика наиболее влиятельных из его „левых“ представителей — кадетов. Нравственно-религиозная проповедь гр. Толстого является теперь, при нынешних обстоятельствах, лишь переводом на мистический язык „реалистической“ политики г. Милюкова¹¹¹.

С последовательными людьми можно не соглашаться, но нельзя не одобрять их логику. Люди кадетского образа мыслей, по-своему, совершенно правы в своем преклонении перед гр. Толстым. Но что сказать о тех бесчисленных „честных, образованных“ господах, которые, мня себя „левее“ кадетов и питая подчас даже террористические симпатии, „шумели“ по поводу „исхода“ гр. Толстого из Ясной Поляны и умилялись перед мнимым

величием возмутительной мысли, изложенной в статье „Действительное средство“?

Подобные эклектики¹¹² всегда были жалки и поделом Чернышевский так едко осмеял их, характеризуя Виктора Гюго. Но особенно жалки они в нынешней России, где едва-едва начинает заканчиваться период упадка, наступивший после бурных событий 1905—1907 гг. Их умиление перед гр. Толстым напоминает собою религиозность Луначарского, Базарова и К°. Я сказал когда-то, употребив выражение Киреевского¹¹³, что религиозность эта есть просто-напросто „душегрейка новейшего уныния“. Совсем такой же „душегрейкой“ является и восторг перед Толстым не как перед великим художником, — это вполне понятный и законный восторг, — а как перед „учителем жизни“. В этом унылом костюме, годном лишь для старых баб, считают теперь нужным щеголять даже энергичные люди, принимающие участие в манифестациях. Социал-демократы должны позаботиться о том, чтобы они отказались наконец от его употребления.

Гейне¹¹⁴ был прав, когда говорил, что новому времени новый костюм потребен для нового дела.

Р. С. Теперь начинают сравнивать Толстого с Руссо, но такое сравнение может привести лишь к отрицательным выводам. Руссо¹¹⁵ был диалектиком (один из весьма немногих диалектиков XVIII века); Толстой до конца жизни остался метафизиком чистейшей воды (одним из самых типичных метафизиков XIX столетия). Уподоблять Толстого Руссо может только тот, кто не читал или совсем не понял знаменитого „Discours sur l'inégalité parmi les hommes“¹¹⁶. В русской литературе диалектический характер взглядов Руссо выяснен уже лет двенадцать тому назад В. И. Засулич¹¹⁷.